

ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

№ 8—9

АВГУСТ—
СЕНТЯБРЬ
1944

ОРГАН НАРКОМПРОСА РСФСР

ЧЕХОВ О ШКОЛЕ И УЧИТЕЛЕ

О ЧЕХОВСКОМ учителе греческого языка Беликове знает у нас каждый мало-мальски начитанный человек. Беликова изучают в школах, он запечатлен в кинофильме, в иллюстрациях и даже в статуэтках из папье-маше. Вместе со школьниками мы разглядываем этого смешного и странного человека как некое ископаемое. Нашим школьникам непонятно, как это можно бояться нового, бояться громко говорить, бояться посылать письма, учить грамоте, ездить на велосипеде, всю жизнь трепетать: «как бы чего не вышло». Они не видели вокруг себя ни подобной действительности, ни подобных людей. А ведь это живая фигура прошлого, и это учитель. Мысль в футляре, футлярное отношение к товарищам, домашняя жизнь в футляре, рабий страх перед всем, что специально не одобрено начальством.

Мы воспринимаем Беликова как типичное явление. И это, действительно, так. Антон Павлович видел вокруг себя немало «человеков в футлярах». Он учился в таганрогской гимназии в семидесятых годах. Только что прошла полоса шестидесяти годов с их общественным оживлением, тягой к свободе, к знанию, к человечности. Совсем недавно угнали в ссылку Чернышевского, звавшего «к топору», закрыли Некрасовский «Современник», наполнили казематы Петропавловской крепости и Шлиссельбурга лучшими русскими людьми.

В шестидесятые годы русская школа встряхнулась и оживилась. Она сделалась тогда рассадником свободомыслия. В эти годы в школе звучали слова Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Некрасова. Теперь же, в Чеховские времена, из школы каленым железом выжигалось все живое, не предписанное начальством. Под мундиром учителя не должно было биться живое человеческое сердце, а под фуражкой с кокардой — никаких недозвоненных идей.

Однажды в Таганрог приехал министр народного просвещения Д. Толстой. Увидев в учительской комнате гимназии портрет Белинского, он гневно приказал убрать портрет «выгнанного из университета недоучки».

Немало ходило по русской земле людей в учительских мундирах, у которых окаракали мысль и которым наступили на сердце. Присмотримся к чеховскому творчеству, и мы увидим, что Беликов не одинок, у него немало «родственников». Вот учитель Ипполит Ишполитыч из рассказа «Учитель словесности». Это труженик, работяга, честный человек, но ограниченность роднит его с Беликовым. Он может мыслить и говорить только о том, что всем давно известно, о том, что зимой нужно печи топить, а летом и без печей тепло. Он даже в бреду говорил: «Волга впадает в Каспийское море... Лошади кушают овес и сено». Вот учитель гимназии Кулигин из пьесы «Три сестры». Это, конечно, не Беликов. Это сердечный, чуткий человек, но и на нем беликовская печать. Его мнения не должны расходиться с мнениями

директора гимназии, в которой он служил. Поступки окружающих его людей он оценивает по пятибалльной системе. Главное в его жизни — форма. Именно так говорит директор гимназии: «Что теряет свою форму, то кончается».

Бескрылая, пустая, безыдейная жизнь падает дичь и пошлость. Многие чеховские рассказы — это паноптикум человеческой серости, бесцельности, тупости и пошлости. В этой веренище живых мертвецов нет-нет да и попадется педагог. Вот герои рассказа «Орден» учителя военной прогимназии с прозрачными фамилиями: Пустяков и Трамбля. Собираясь на купеческий обед, оба соприехали одним и тем же грехом: нацепили для важности чужие ордена. Вот комическая фигура учителя чистописания Ахниева, который по глупости оклеветал самого себя. Вот жалкая фигура обжоры и блюдолизы учителя Манже в рассказе «Петров день». Над этими «героями» смеялся Антон Павлович, но смеялся смехом человека, который не издевается, а жалеет. Об этом сострадании Чехова к своим серым героям А. М. Горький писал:

«...в каждом из юмористических рассказов Антона Павловича я слышу тихий, глубокий вздох чистого, истинно человеческого сердца, безнадежный вздох сострадания к людям, которые не умеют уважать свое человеческое достоинство и, без сопротивления подчиняясь грубой силе, живут как рабы, на во что не верят, кроме необходимости каждый день хлебать возможно более жирные щи, и ничего не чувствуют, кроме страха, как бы кто-нибудь сильный и наглый не побил их»¹.

Но Чехов не только жалел, но любил и уважал русскую школу и русского учителя.

«Если бы у меня было много денег,— говорил он А. М. Горькому в Крыму,— я устроил бы здесь санаторий для больных сельских учителей. Знаете, я выстроил бы такое светлое здание — очень светлое, с большими окнами и с высокими потолками. У меня была бы прекрасная библиотека, разные музыкальные инструменты, пчельник, огород, фруктовый сад; можно бы читать лекции по агрономии, метеорологии, учитель нужно все знать, батенька, все!»

...Если бы вы знали, как необходим русский деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохого обожженного кирпича! Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело...»

А. М. Горький, А. П. Чехов.

Почему же писатель, смеявшийся над Беликовыми, Пустяковыми и Ахинеевыми, так ценил и любил учителя? Потому что Чехов видел и понимал, что Беликовы и Пустяковы — мертвецы, что они далеки от народа. Рядом с ними Чехов видел живых людей, видел подлинно народных учителей, самоотверженных тружеников, мастеров, людей, в груди которых бьется живое, горячее человеческое сердце. По-иному рассказывал Чехов об этих учителях. Вот грустная история фабричного учителя Федора Лукича Сысоева. Одна раз в год фабричная администрация вспоминает о школьных учителях. После экзаменов для них устраивается обед, на котором произносятся казенные речи. Федор Лукич собирается на четырнадцатый по счету обед. Это его последний обед, потому что он тяжело болен. Болезнь сделала из него мрачного и раздражительного человека. Люди видят его близкий конец, и на этот раз их речи, обращенные к Федору Лукичу, правдивы и искренны.

«Я должен искренно признаться, что ваша школа, действительно, необыкновенна, — сказал инспектор. — Не подумайте, что это финим. По крайней мере другой такой мне не приходилось встречать во всю жизнь. Я сидел у вас на экзамене и все время удивлялся... Чудо что за дети! Много знают и бойко отвечают и притом они у вас какие-то особенные, незапуганные, искренние. Заметно, что и вас любят, Федор Лукич. Вы педагог до мозга костей, вы, должно быть, родились учителем. Все данные в вас — и врожденное призвание, и многолетний опыт, и любовь к делу... Просто удивительно, сколько у вас при слабости здоровья энергии, знания дела... этой, понимаете ли, выдержки, уверенности! Правду сказал кто-то в училищном совете, что вы поэт в своем деле... Именно поэт».

Но талантливый учитель, замечательный мастер уже состарел. Обессиленный, тяжело расстроенный тем, что ему бестактно напомнили на обеде о близком конце, возвращается Федор Лукич домой, где земский врач шопотом говорит его жене, что не следовало отпускать на обед человека, которому осталось жить не больше недели.

В другом рассказе «На подводе» тепло и сочувственно повествует Чехов о тяжелых думах учительницы Марьи Васильевны, возвращающейся из города. Вот уже тринадцать лет ездит она в город за жалованьем. «Тут было ее прошлое, ее настоящее; и другого будущего она не могла представить себе, как только Никола, дорога в город и обратно, и опять школа, и опять дорога». Марья Васильевна думает о школе, о стороже, который ничего не делает, грубит ей и бьет учеников; об инспекторе, который ничего не смыслил в школьном деле, потому что раньше служил по акцизу и получил место по протекции; о неумном, грубом купце-попечителе. У нее каждый день болит голова, после обеда жжет под сердцем. Нужно собирать с учеников деньги на дрова, на сторожа и отдавать их попечителю, а потом умолять сытого, нагло-

го мужика, чтобы он ради бога прислал дров. Попечитель подозревает ее в том, что она берет себе часть денег, так же, как и он.

«От такой жизни она постарела, огрубела, стала некрасивой, угловатой, неловкой, точно ее налили свинцом, и все-го она боится, и в присутствии члена управы или попечителя школы она встает, не осмеливается сесть и когда говорит про кого-нибудь из них, то выражается почтительно: «они». И никому она не нравится и жизнь проходит скучно, без ласки, без дружеского участия, без интересных знакомых».

Чехов мечтал о том, чтобы создать этим людям, которые «делают большую, страшно важную работу», особенные условия. Нужно чтобы учитель

«был первым человеком в деревне, чтобы он мог ответить мужику на все его вопросы, чтобы мужики признавали в нем силу, достойную внимания и уважения, чтобы никто не смел орать на него... уничтожать его личность, как это делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп, становой, попечитель школы, старшина и тот чиновник, который носит название инспектора школы, но заботится не о лучшей постановке образования, а только о тщательном исполнении циркуляров округа».

В девяностых годах в творчестве Антона Павловича появляются иные фигуры, образы учителя приобретают иные черты. Это образы пробудившихся людей, сознающих безыдейность, пошлость своего существования, вступающих в активную борьбу с чиновничьим гнетом.

Молодой учитель словесности Никитин выжидал из студенческой нужды. Два года назад он был бедным студентом, жил в дешевых номерах на Неглинной, а теперь он учитель гимназии в одном из лучших губернских городов, женат на богатой, взял двадцать тысяч приданого. У него красивая молодая жена, приличный семейный очаг. У него в руках то счастье, о котором он мечтал на Неглинной и которое казалось ему возможным только в романах. И вот потекли размеренные, похожие друг на друга дни. Утром Никитин уходил в гимназию, потом на частные уроки. В большую перемену ему присылали завтрак в белой, как снег, салфеточке. Дома ожидало его покойное семейное гнездо, уютный отдых. Он убеждает себя, что это — счастье, которое он создал своими руками. Ведь в прошлом у него сиротство, бедность, несчастное детство, тоскливая юность. Но дни наполнены все одним и тем же. В гимназии — скучные, утомительно долго тянувшиеся уроки. Дома — салфеточки, занавески, кошки и собачки, от которых пахнет, как в зверинце. Жена, похожая на розан, встретит его и скажет: «Мармеладу наелась». Об этом счастье уже не хочется писать в дневнике. Оно кажется теперь не заработанным, а свалившимся неожиданно, и нет в этом счастье ничего значительного. Ничего теперь не читает Никитин,

ни к чему не стремится. Он с ужасом ощущает себя тупым, бездарным педагогом-чиновником, который и с педагогией-то как следует не знаком, обращаться с детьми не умеет и, может быть, учит не тому, что нужно. Он думает о том, что, кроме мягкого лампадного света, улыбающегося такому семейному счастью, есть еще другой мир. Ему страшно хочется куда-нибудь на завод, в большую мастерскую, хочется бороться, шуметь, утомляться и страдать. Ему хочется дела, которое захватило бы его целиком, до равнодушия к личному счастью. Но дела такого нет и не может быть в гимназии, где медленно двигаются равнодушные, тупые чиновники, скрывающие свое невежество. В клубе — винт, а дома — гости, еда, собаки, перебранки с женой и прислугой.

«Где я, боже мой! — восклицает Никитин. — Меня окружает пошлость и пошлость, скучные люди, горшечки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины... Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума».

Вероятнее всего, что никуда не убежит Никитин, свыкнется, опустится, обрюзгнет как тот же чеховский Ионыч, будет ссориться с женой, проводить вечера за карточным столом, доживет в тупом раздражении на мир и на самого себя и умрет от ожирения сердца.

Но Никитин уже не один. В рассказе «Человек в футляре» рядом с Беликовым живет учитель гимназии Буркин. Буркин смертельно ненавидит Беликовых и беликовщину.

«Разве то, что мы живем в городе, в духоте, в тесноте, — говорит он, — пишем ненужные бумаги, играем в винт — разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, слуг, глупых праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор — разве это не футляр?»

Эту мысль Буркина продолжает ветеринарный врач Иван Иванович:

«Видеть и слышать, как лгут... и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь, сносишь обиды угнетения, не смеешь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена, — нет, больше жить так невозможно».

Протест учителя Буркина — пассивный протест. Он мечтает о свободной, творческой жизни:

«Эх, свобода, свобода! Даже намека, даже слабая надежда на ее возможность дает душе крылья. Но слишком много Беликовых и трудно бороться с ними. Жизнь идет утомительная, бестолковая, и жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне».

Но вот на смену раздражительным Никитиным и скептикам Буркиным идет новая порода

людей, та самая порода людей, о которых Чернышевский в романе «Что делать?» говорил, что их становится все больше и больше. Это люди действия. Их не удовлетворяет раздраженный, больной и бессильный протест, брюзжание и показывание кулаков в кармане. Они смело заявляют о себе. Не щадя себя, они бросаются в борьбу. Таков учитель истории и географии Коваленко. Он совсем не похож на учителей-чиновников. Говорит он громко и уверенно, ходит не в мундире, а в вышитой сорочке. Книжки — его постоянные спутники. А главное, он не скрывает своего отвращения к беликовщине, к подлому миру обывательской скуки, казенного равнодушия, сплетен, рабского чиновничества. «Не понимаю, — говорил он нам, пожимая плечами, — не понимаю, как вы перевариваете этого фискаля, эту мерзкую рожу. Эх, господа, как вы можете тут жить! Атмосфера у вас удушающая, поганая! Разве вы педагоги, учителя? Вы чинодралы, у вас не храм науки, а управа благочиния, и кислотной воняет, как в полицейской будке». Совсем иначе представляет себе Коваленко труд учителя, воспитателя. Вероятно, такие учителя, как Коваленко, были любимыми учителями в девяностых годах. Но не долго уживется Коваленко в гимназии. Недаром он новый учитель. Он и сам это понимает. Его самого тянет вырваться из затхлой кислотины на свежий воздух: «Нет, братцы, поживу с вами еще немного и уеду к себе на хутор и буду там раков ловить и хохлят учить. Уеду, а вы оставайтесь тут со своим иудой, нехай вин лопне».

«Помню, — рассказывал А. М. Горький, — один учитель — высокий, худой, с желтым голодным лицом и длинным горбатым носом, меланхолически загнутым к подбородку, сидел против Антона Павловича и, неподвижно глядя в лицо ему черными глазами, угрюмо басом говорил: — Из подобных впечатлений бытия на протяжении педагогического сезона образуется такой психический конгломерат, который абсолютно подавляет всякую возможность объективного отношения к окружающему миру. Конечно, мир есть не что иное, как только наше представление о нем...»

Тут он пустился в область философии и зашагал по ней, напоминая пьяного на льду.

— А скажите, — негромко и ласково спросил Чехов, — кто это в вашем уезде бьет ребят?

Учитель вскочил со стула и возмущенно замаха л руками.

— Что вы! Я? Никогда! Бить?

И обиженно зафыркал.

— Вы не волнуйтесь, — продолжал Антон Павлович, успокоительно улыбаясь, — разве я говорю про вас? Но я помню — читал в газетах — кто-то бьет, именно в вашем уезде...

Учитель сел, вытер вспотевшее лицо и, облегченно вздохнув, глухим басом заговорил:

— Верно! Был один случай. Это — Макаров. Знаете — не удивительно. Ди-

ко, но — объяснимо. Женат он, четверо детей, жена — больная, сам тоже в чухотке, жалованье — 20 рублей... а школа — погреб, и учителю — одна комната. При таких условиях — ангела божия по колотишь без всякой вины, а ученики — они далеко не ангелы, уж поверьте!

И этот человек, только что безжалостно поражавший Чехова своим запасом умных слов, вдруг, зловеще показывая горбатым носом, заговорил простыми, тяжелыми, точно камни, словами, ярко освещая проклятую, грозную правду той жизни, которой живет русская деревня...

Прощаясь с хозяином, учитель взял обеими руками его небольшую сухую руку с тонкими пальцами и, потрясая ее, сказал:

— Шел я к вам, будто к начальству, — с робостью и дрожью, надутся, как индейский петух, хотел показать вам, что, мол, я не лыком шит... а ухажу вот — как от хорошего. Близкого человека, который все понимает. Великое это дело — все понимать! Спасибо вам! Иду. Уношу с собой хорошую, добрую мысль. Крупные-то люди проще и понятливей, и ближе душой к нашему брату, чем все эти мизеры, среди которых мы живем. Прощайте! Никогда я не забуду вас...

Нос у него вздрогнул, губы сложились в добрую улыбку, и он неожиданно добавил:

— А собственно говоря, и подлещи — тоже несчастные люди, чорт их возьми! Когда он ушел, Антон Павлович посмотрел вслед ему, усмехнулся и сказал:

— Хороший парень. Не долго проучит...

— Почему?

— Затравят... прогонят».

На заре двадцатого века два великих писателя, Горький и Чехов, мечтали о мире преобразованном, очищенном от подлости человеческой, о жизни людей в радостном труде. Горький как-то прочитал Чехову монолог Васьки Буслаева из задуманной им пьесы. Там были такие строки:

Эх-ма, кабы силы да поболе мне!

Жарко бы дохнул я — снега бы растопил,

Круг земли пошел бы да всю распахал...

...Землю разукрасил бы, как девушку.

Выслушав монолог, Чехов взволнованно сказал:

«Это хорошо.. Очень настоящее, человеческое! Именно в этом смысл фило-

софии всей. Человек сделал землю обитаемой, он сделает её и уютной для себя.

Кивнув упрямо головой, повторил: — Сделает».

Устами Вершинина («Три сестры») и Трофимова («Вишневый сад») Чехов произносит слова надежды и уверенности в том, что жизнь человеческая «будет невообразимо прекрасной, изумительной», что «человечество идет к высшей правде, к высшему счастью, какое только возможно на земле». Чехов имел право и верить и надеяться: немало поработал он по очищению жизни от грязи и пошлости.

В этот новый, чудесный мир Чехов взял бы с собою русского народного учителя, которого он так любил и ценил, без которого не мыслил расцвета нашей родины, работу которого он считал «страшно важной», а самого учителя хотел бы видеть «артистом, художником, горячо влюбленным в свое дело».

Жизнь, о которой мечтал Чехов, стала строиться гораздо раньше, чем он думал. Через полтора десятка лет после его смерти советские учителя вместе со всем народом стали создавать жизнь без рабства и гнета, мир свободного творческого труда. Ушли в далекое прошлое мрачные тени беликовых. Страх потерял место, унижение человеческого достоинства перед властью имущими, растаптывание личности — все это незнакомо советскому учителю. Выросли тысячи новых учителей, и немало среди них даровитых и талантливых людей, «художников, влюбленных в свое дело». Чехову хотелось построить санаторий для больных учителей. Освобожденный народ осуществил и эту его мечту. Он создал много санаториев и домов отдыха, и для больных и для здоровых учителей.

Сегодня великий Чехов, ненавидевший рабство, вандализм, мракобесие снова протягивает нам руку. В нашей борьбе с фашизмом, отравившим зловонным дыханием воздух, великий писатель — наш верный союзник. Сейчас, когда мы отмечаем сорокалетие со дня его смерти, советские учителя отстаивают жизнь, независимость, честь своей Родины. Многие из них героически отдали жизнь, а многие стали живыми героями родной страны.

В эти дни кровью и трудом, храбростью, самоотвержением, умением переносить лишения, упорством, сметкой и выучкой советские учителя оправдывают вдохновенные слова Чехова:

«Боже мой, как богата Россия хорошими людьми!»¹.

¹ Чехов А. П., Письма к М. П. Чеховой, 1890.